

ПРИЯТНЫЙ МУЖЧИНА СОКНАМИ НА СЕВЕР

Вет. Москва - 2000 - 8 лет - с. 3

Окна московской квартиры Радзинского выходят на север. Темнеет нынче быстро, но света он не зажигает. Все происходит в лучших театральных традициях: усадив меня спиной к сумеречному окну, сидя против света и жизнерадостно улыбаясь в своей манере, он говорит, не оставляя собеседнику времени для вопроса.

Дмитрий БЫКОВ

— Диктофон вам не понадобится, вы и так все запомните. Я это умею, простая театральная техника. Меня мои режиссеры, Эфрос в особенности, многому научили. Знаете, откуда эта телевизионная манера? В жизни я ведь так не говорю — нет этого пения, вскриков, внезапных жестов, хихиканья... Эфрос, когда хотел, чтобы актер воспроизвел со сцены десятую часть требуемой эмоции, эту эмоцию многократно превращал. В разговоре с актером он кричал, пел, плакал, бросался на него... Я просто делаю так, что зритель запоминает рассказанное. Оно врезается в него. Приемы очень простые: одну из передач о Сталине я всю построил на смехе, на смешных аспектах тиранства. И контраст сработал.

— У вас сейчас выходит книга о Распутине.

— Да. Большая часть документов и фотографий публикуется впервые, многого не было даже в западной версии.

— Но почему все ваши книги выходят сначала на Западе?

— На Западе выходит черновик. Проходит полгода, я остываю, начинаю смотреть на вещь холодными глазами, что-то сокращаю, что-то дописываю. На западном читателе книга обкатывается — в английском варианте я могу себе позволить меньше думать о стиле, подробнее расписываю какие-то русские реалии... Хотя русские реалии и современному читателю не слишком известны.

— Так вот, о Распутине. Я так и не понял одного — хотя книга показала мне чрезвычайно умной и захватывающей, и внутренне серьезной, почему он был так непопулярен именно среди народа? Ведь он был фактически его посланцем при дворе...

— Да, да, именно тем Емелей, который доехал на печи до самого царя. Но если вы прочитаете оригиналы этих сказок про Емелю — он там вовсе не похож на народно-го героя. Он жулик, веселый, удачливый, но презираемый рассказчиком в глубине души. Вообще в Распутине каждый отражается по-

своему: авантюристы считают его авантюристом, подлецы — подлецом, фанатики — фанатиком... А русский мужик хитер и жуликоват, и Распутин кажется ему таким же жуликом, который лапает царя. Это нехорошо, чтобы мужик лапал царя, это неправильно. Распутин призван был утробить авторитет династии и с этой задачей блистательно справился. От субъективных его намерений это совершенно не зависело — он был человек неглупый, основатель типичной секты, наделенный к тому же чутьем. Например, понимал, что войну начинать нельзя. Николай не понимал: все европейские монархи были родственники, приятели, думали, что повоюют немного для некоторого кровопускания и разойдутся мирно... Распутин это понимал, но Николай ведь не воспринимал его как гонца от народа. Кстати, именно с этой точки зрения его и надо было бы воспринимать: умный, хитрый, дельный мужик, отлично знающий настроения в деревнях. Но увы — при дворе его воспринимали иначе.

— В вашей книге я не заметил осуждения его небывалого разврата...

— Нет, я ведь не судья... хотя и не историк: я исторический писатель, скажем так. Или даже исторический драматург, интересующийся закономерностями, которые управляют этим нашим большим театром. И оттого я пытаюсь прежде всего понять героя. Распутин, кажется, я понял. Это был, строго говоря, не разврат. Это был такой способ познать Бога, очень русский, очень достоевский: сначала — бездна греха, потом — прозрение, очищение... Вот на этой грани перехода от греха к святости (а Распутин совершал настоящие подвиги: постился, странствовал, истязал себя) ему и открывался Бог, причем с такой глубиной и силой, которая не всегда достигается самой благой жизнью... Он искренне полагал, что, греша с женщиной, он выплывает из нее грех, берет ее на себя... Ну, и догребился в результате до того, что стал полумпотентом — его возбуждало только бесконечное разно-



образе. У него все это называлось «утончить нервы». При всем этом это был человек глубоко верующий и серьезно думающий: другой — не имел бы такого влияния на людей.

— Вы написали о Николае, о Распутине, о Сталине. Не было ли намерения осмыслить как-то события недавней истории?

— Вслед за тиранами приходят личности куда меньшего масштаба — я называю их чингизидами. Тиран выплывает вокруг себя пространство, удаляя потенциальных конкурентов, то есть всех ма-

ло-малышки значимых людей. И тогда на смену ему являются потопки, подонки, тонкошеле вожди — начинают править уцелевшие. Среди них, кстати, случаются вполне симпатичные люди — но мелкие, глуповатые.

Чингизиды — тоже забавная тема. Я даже думаю, что о них можно бы написать, но вообще моя миссия историка, кажется, выполнена. Я выполнил свой долг перед отцом, перед собой — дальше буду писать прозу, большой роман из русской жизни с середины девятнадцатого века до тридцатых годов

двадцатого. Манера скорее мопсановская; мне всегда была близка его проза... Множество вымышленных персонажей и столько же реальных. Герои последнего тридцатилетия, в общем, все могут быть определены какой-то одной чертой — если хотите, я по ним легко пройду.

Брежнев. Феноменальная по своей абсурдности эпоха: если проследить корни моего интереса к гротеску, он, конечно, здесь. Я в жизни не видел ничего более гротескного, чем исполнение «Интернационала» в конце партсъезда стандартного брежневского образца. Боже, как это звучало! — неужели они сами не слышали? Поют какие-то толстые, странные люди: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» К кому они обращаются, они что, народ голодный и рабский призывают против себя восстать? Это было гениально... И вот однажды какой-то человек, приближенный к верхам, мне сказал: «Брежнев — великолепный аппаратчик». Я долго не понимал, что, собственно, имеется в виду, о каких вообще успехах можно говорить применительно к его эпохе, пока не пронаблюдал по телевизору награждение Карпова после победы над Корчным. Брежнев, уже с трудом держащийся на ногах и не очень понимающий, что происходит, привинчивает к Карпову орден и вдруг, с какой-то внезапной силой и властью в голосе произносит: «Взял корону — держи!» Вот тут я понял про него все. Он подлинный аппаратчик, то есть человек, который, даже будучи уже подключен к совершенно другому аппарату, продолжает держать корону. Бессмысленно и бесполезно. Одна, но пламенная страсть.

Горбачев: еще один заложник истории, толком не осознававший своей миссии. Он искренне полагал, что достаточно привести наверх умных и перестать прислушиваться к идиотам, и жизнь наладится сама собой. Естественно, он не предполагал перемен такого масштаба, никак не был ориентирован на крах социализма и вообще, я думаю, растерялся при виде всенародной готовности к ним.

Но Горбачев — не царь. Народ видит, что от него уже ничего не зависит. И тут приходит царь — Ельцин — единственная действительно масштабная личность в последние полвека российской истории, единственная личность, способная удержать страну от полного распада и провести ее сквозь переходный этап — со множеством ошибок и неизбежных жертв. Удивляюсь, как никто не проанализировал причину его болезни: конечно, никакие выпивки бы такого не сделали. Проблема в том, что он в чистом виде авторитарий — так складывался, так жил, но вся его авторитарность была направлена главным образом на себя. И этим беспрерывным обузданием он себя и разрушил: царь, способный вот

так держать всю страну — и в результате обреченный десять лет вот так держать главным образом себя. Как бы Мерлин, обративший на себя все чары, Горгона, взглянувшая в зеркало.

— А Путин?

— О Путине рано говорить. Страхи насчет национализма и террора не обоснованы, потому что страна уже вовлечена в мировой исторический процесс. О другом говорить пока воздержусь.

— Все-таки можно как-то охарактеризовать писателя и историка Радзинского в самом общем и кратком виде? Что в нем кажется вам определяющим?

— Исторического писателя Радзинского интересуют, как уже было сказано, драматургические законы построения истории, ее мистические закономерности и то, как люди губят себя и других, не будучи способны эти закономерности понять. Писателя Радзинского вообще больше всего интересует, как бы сказать, бесконечность человека в обе стороны — в сторону добра и в сторону зла. Незаметность и легкость перехода.

— То есть можно сказать, что Радзинский — религиозный писатель?

— Сам о себе я такого не скажу, но если скажете вы, читатель, соглашусь.

— Выпуская каждую новую книгу или программу, вы должны быть готовы и к ругани — за неточности, за упомянутые театральные эффекты, за сочетание серьезной исторической работы с абсолютным балаганом...

— Знаете, у меня в восьмидесятые годы случилось небольшое сердечное недомогание. Нашли мне чудо-профессора, старичка, врача одной из московских военных академий: приехал крошечный старик, ровно половину роста которого составляли орденские планки. Я предложил ему меня выслушать. «Что вы, шпион, чтобы я вас прослушивал? Хороший врач по лицу все видит». Он что-то посоветовал, ничего серьезного, по счастью, не нашел, но рассказал очень много интересного — в частности, о Булгакове, которого тоже консультировал. Так вот: Булгаков никогда на сердце не жаловался и умер от болезни почек, но когда его вскрыли — сердце оказалось все в рубцах. Он перенес несколько инфарктов, и все оттого, что чрезвычайно близко к сердцу принимал свою литературную судьбу с ее беспрерывными катастрофами, разносами, снятием пьес с репертуара... У него был специальный альбом, куда он подшивал отрицательные рецензии, чтобы потом с каким-то болезненным сладострастием их перечитывать. Я никогда не читал отрицательных рецензий — не потому, что так берегу здоровье, но потому, что это неинтересно. Я читаю только то, что будоражит мысль, дает новые идеи, — статьи, в которых меня ругают, написаны не очень изобретательно. Если бы закалили мне, я бы разнес себя гораздо остроумнее.

8.12.2000

Радзинский